



ЕКАТЕРИНА
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ДЕВОЧКА С ПАТРИАРШИХ



Москва
2020

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р62

Художественное оформление *А. Рысухина*

Иллюстрации на обложке и в макете книги
Юлии Моргуновской

Фотография на обложке из личного архива автора

В коллаже на обложке использована фотография:

© Kondor32 / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Рождественская, Екатерина Робертовна.

Р62 Девочка с Патриарших / Екатерина Рождественская. — Москва : Эксмо, 2020. — 256 с.

ISBN 978-5-04-109652-6

Настоящая история из жизни маленькой девочки, которая давно выросла, но отчетливо помнит каждый тот день из детства, вернее, каждую ночь.

А сама история про одиночество — и поделиться девочке страхом не с кем, и постоять за себя невозможно, и возраст проблемный. Полное отчаяние и одиночество — при живых родителях и полном дворе соседей.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Рождественская Е., 2020
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-109652-6



Первый раз он появился у ее окна в самом конце лета.

Было душно: лето, август, марево. Нина сидела у себя в комнате на подоконнике, смотрела в окошко и, как обычно, ничего, кроме двора, не видела. Хотя если задрать голову совсем вверх, то можно увидеть кусочек неба и любимое место голубей на карнизе верхнего этажа. Нина стала их считать: раз, два, три, четыре... Там, в вышине на карнизе, сидели четыре голубя — ой, нет, один вдруг самоубийственно кинулся вниз, развернулся в воздухе и вылетел через арку на улицу.

Три. Их осталось только три.

Решетка, конечно, очень мешала привольной жизни. Но папа сказал: «Первый этаж, это необходимо, и все тут». Он решил зарешетить окна

после того, как обворовали квартиру в соседнем доме. И тоже на первом этаже. Нина была тогда совсем еще маленькая, но помнила, как пришли рабочие в грязных промасленных штанах и с приклеенными папиросками в уголках рта и целый день приваривали, сверлили, воняли, бурили и курили. Нине все это не понравилось, совсем не понравилось. Раньше она могла в любое время вылезти из окна своей комнаты и оказаться сразу посреди двора, на качелях под липой. Мама разрешала: главное, чтоб со двора ни шагу. А сейчас что? Теперь надо было выходить из квартиры как все нормальные люди, спускаться вниз по лестнице черного хода и только тогда можно было выйти во двор. Муторно и неудобно. Хотя в первый раз, как только промасленные рабочие ушли, Нина сразу же попыталась пролезть сквозь решетку, и это у нее почти получилось. «Почти», потому что она тогда застряла и стала кричать на весь двор. Прибежали соседи, и маме пришлось вылить на нее пол-литра дефицитного подсолнечного масла, чтобы протолкнуть ее во двор, не поранив, скользкую и липкую.

В Нину потом надолго въелся этот запах давленных семечек, и она вспоминала с содроганием, как масло тепло и липко струилось по ногам, пока она шла обратно домой, оставляя, как улитка, скользкий жирный след и плача от противности

и брезгливости. Мама ей тогда сказала: «Каждый раз, когда ты будешь пытаться пролезть через решетку, я стану поливать тебя маслом, ты поняла?»» Нина поняла. А мама тогда рассердилась также и на папу и обругала его: какой смысл вообще ставить решетку, если в нее запросто может пролезть человек? Но Нину от масла она все-таки отстирала.

Постное масло Нина ненавидела. В нижнем ящике мамино рабочего стола в архитектурской кальке лежала маленькая хлопковая безрукавка, которую всегда использовали как компресс, когда Нина болела воспалением легких. Она была насквозь промасленная, эта распашонка, и противно пахнущая, поскольку отстирать ее от жира было совершенно невозможно. Впрочем, никто и не пытался — посильнее выжимали, сушили, и все. Как только Нина начинала кашлять, а в ее детстве это случалось довольно часто, мама торжественно доставала из ящика компрессную безрукавку, кальку и вату. Потом наливала в миску порядочно масла, утапливала в ней ткань и ставила на огонь. И всегда держала в масле палец, чтобы почувствовать, как оно доводится до нужной температуры чуть выше человеческой, чтобы хорошенько, а лучше раз и навсегда прогреть кашляющие легкие. Нину облачали в эту сальную распашонку («Сердце, сердце не закрывай», —

обычно советовал папа), сверху закатывали калькой, потом обертывали ватой, как новогоднего снеговика, надевали узкую старую майку для удержания лечебных слоев и весь этот кашляющий букет укладывали спать. Это был бабушкин рецепт. Она говорила, что в детстве так спасали от легочных воспалений ее саму, маму и бабушку. Но с Нининой точки зрения, этот компресс был не лечением, а пыткой и преступлением против детства. Нина зажмуривала глаза и старалась не прислушиваться к своим масляным ощущениям, иначе слезы начинали литься сами помимо ее воли. Вонючим прогорклым жиром пропитывалась каждый раз не только распашонка, но и руки, ноги, волосы, постель — все! Даже мысли и те оказывались какими-то вязкими и клейкими. Нина старалась замереть, не двигаясь, чтобы наконец заснуть и поскорее проснуться здоровой.

Однажды Нину положили в больницу, и врачи сказали, что после тяжелого воспаления легких может не дай бог случиться осложнение на сердце и что надо делать уколы и все время лежать, не вставая, потому что сердце у нее теперь какое-то время будет находиться в пяточках, а топтать его никак нельзя, иначе оно совсем испортится. Нина пролежала пластом почти месяц, а когда ее выпустили, совсем слабенькую, но поправившуюся, то даже после больницы она еще несколько

месяцев старалась ходить по дому на цыпочках, боясь вообще наступать на пятки: вдруг сердечко раздавится?

Эта больница ей запомнилась надолго и стала источником первых детских ужасов. Однажды две молодые и одинаково рыжие практикантки попытались взять у Нинки кровь, но каждый раз, тихо шепча непонятные слова, не попадали в вену и в результате расковыряли обе руки. Потом они осмотрели своими хищными сорочьими глазами худые бледные ноги девочки, собираясь найти вену там, и строго предупредили Нинку, словно она была виновата, что если и на этот раз у них ничего не получится, то они будут брать кровь из вены на голове. Нина тогда закудаhtала, запричитала и закричала что было сил, пытаясь жутким плачем испугать этих хищниц, ее сердечко забилося быстро-быстро, но совсем не в пятках, как ей сказали, а там, где ему и было положено — в груди. И только прибежавшая на крик пожилая медсестра с грустным и усталым лицом, как у старенькой Снегурочки, успокоила Нинку какими-то простыми словами и легко с первого раза все сделала сама. А потом одобрила мамино средство лечения пневмоний — масляные компрессы.

Поэтому пневмонии Нинка не любила. Как только она закашливала, то сразу начинала горько плакать, но не потому, что у нее что-то боле-

ло — просто она знала, что мама сейчас же пойдет к своему рабочему столу и достанет из ящика ненавистный сверток с жирной распашонкой. Ангины нравились Нинке намного больше. Когда она заболела горлом, а бабушка была под рукой, то расклад был совсем другой. Бабушка покупала на рынке большую горькую черную редьку и выдалбливала в ней ямку, словно собиралась сделать из нее чашку, потом заливала туда до половины мед и оставляла на сутки. Редька отдавала меду всю свою лечебную горькоту, мед становился почти жидким и невероятно вкусным, не таким сладким и чуть забродившим. А бабушка все говорила, что это древний рецепт, что испокон веков так от кашля лечились, таблеток-то раньше не было! И всем всегда помогало! Но целые сутки ожидания Нинка никогда не выдерживала — она просила дать ей настоя пораньше и зажмуривалась от счастья, когда бабушка несла к ее широко раскрытому птенцовому рту большую ложку с волшебной жижей. Одновременно с Нинкой всегда лечилась и сама бабушка, разведя медовую редьку водочкой. Она заливала в себя драгоценные капли, смачно крикала и обычно говорила что-то эдакое: «Не пить горького — не видеть и сладкого» или: «Тяжело болеть, а тяжелее того над болью сидеть».

Но бабушка к ним из деревни приезжала редко — это так, к слову.

Нина жила с папой и мамой на первом этаже старого-престарого шестиэтажного дома без лифта в маленькой квартирке с приличной по размеру кухней и двумя миниатюрными комнатками, заставленными до потолка полками с книгами. Их высокий дом отделял своим мощным дореволюционным телом двор от улицы, и пройти внутрь можно было только через арку, с которой давным-давно зачем-то сняли богатые кованые ворота, и теперь попасть во двор мог каждый. Справа от арки стоял дом пониже да постарше фасадного, в три этажа, с довольно неуклюжей надстройкой на крыше — зачем ее сделали и кому она предназначалась, понять теперь было невозможно: то ли бывшая голубятня, то ли отслужившая свое мастерская затрапезного художника, то ли вообще чердак для всякого хлама. Подъездов в том доме было три, и вечно, даже зимой, их двери почему-то оставались открытыми настежь. Хотя были подъезды еще и с улицы, но те соседи в Нинкином дворе почти не появлялись.

Напротив трехэтажного дома с уродским курятником на самом верху торчал желтый двухэтажный, совсем дряхлый и облупившийся, но очень милый особнячок, весь в трещинах и морщинах. Подъезд там был один, а квартир всего четыре, по две на каждый этаж. Балкончики на втором этаже были чудо как хороши: широкие,

с белыми балюстрадами и барельефами над каждой дверью. С барельефов смотрели вполне добродушные и скучающие львы, давно потерявшие свое царзверское достоинство. А прямо напротив арки высился забор — просто забор, и все! За ним шла какая-то многоэтажная жизнь, колосились высоченные деревья, но жизнь эта уже считалась чужой, ею никто и вовсе не интересовался.

Посреди двора рядом с высокой раскидистой липой цветнела всеми красками детская площадка, совсем небольшая и серьезно потрепанная двумя послевоенными поколениями местных. Она была невероятно красочная. Изначально она была зеленой: после войны это была главная краска страны, и в зеленый красилось все, от подъездных стен до кладбищенских решеток. Видимо, зеленуху замесили тогда, в конце 40-х, в промышленных масштабах, чтоб оттенить серость разрухи и кое-как, хотя бы цветом, приблизиться к природе. Спустя пару лет зеленая краска с железных качелек местами сошла, и выступила опасная, режущая детские руки, ржа. Зеленую жирно подкрасили белой краской, которая осталась от ремонта у кого-то из запасливых и нежлобливых соседей. И эти зелено-белые качельки какое-то время приятно радовали глаз, пока снова не облупились. Бросили клич. На этот раз красную

в майонезной баночке принес художник Серафим, главный дворовый матерщинник. Но краски этой веселой на все раны категорически не хватило, и кто-то привез желтую с дачи. Так детская площадка накапливала цвета, веселела год от года, приодеваясь в новое, радостное и необыкновенное. Хотя со временем чуть покосилась, но не вся, конечно. Песочница никуда и не думала коситься, просто с возрастом чуть сохлась и сильнее припала к земле, почти сровнявшись с ней и похоронив в своих песочных слоях поколения совочков, формочек и лопаток. А кроме песочницы что там было-то? Невысокая горка и одинокие скрипучие качельки на толстых цепях, вот и вся детская площадка!

Нина больше всего уважала качели: нравился ей ритм монотонного покачивания, сначала слегка, совсем чуть-чуть, а потом как р-р-раз! — и она отталкивалась, взлетала все выше и выше, и ей уже становилось страшно, и душа зависала где-то под облаками, а там воздух и счастье!

Вот и теперь она ловко с них спрыгнула, отметив, что получилось дальше обычного, а качельки еще чуть поскрипывали, и даже пыль под ними пока стояла столбом. Рядом с площадкой для молодняка кренилась слегка поплывшая вбок беседка из зеленых реек, где днем сживали дворовые тетки-бабушки, а вечером гуляли подрост-

ки или куролесили пьяницы. Этот караул имел свои четкие часы работы: тетушки заступали после обеда, грузно усаживались, потирая опухшие колени и начиная нескончаемые разговоры о своих почти прожитых и растворяющихся жизнях, а как смеркалось, пост сдавался местным алкашам — обязательно местным, пришлые не допускались! Местных алкашей было мало — вернее, всего один, Мишка. К вечеру, как темнело, бабы уходили парами, а последняя пара во что бы то ни стало дожидалась сменщика, иначе как можно было без присмотра оставить двор? Сейчас-то август, всегда кто-то есть, а по холоду, бывало, к вечеру двор опустевал совсем. Дядя Миша, родной дворовый алкаш, крепко выпив, всегда хорошо пел, и его раскатистый бас выливался из горла, как вино из кувшина, без натуги и усилий. Причем каждую песню он объявлял, как и положено в концертах. Объявлял всегда одинаково: «Музыка народная! Слова народные! «Вечерний звон»! Исполняет Михаил Шамшурин!» И начиналось протяжное и внушительное бомканье на полчаса. Это произведение было его любимым. Иногда он затихал, и соседи уже шли к окошку, чтобы понять причину прекращения выступления, но он звонко икал и менял репертуар без должного объявления: «Я вчера была твоею, а сегодня Мишкина! Хер у Мишки как сосна на картине Шишкина!».

